

Николай ВОРОНОВ

Истина о самом себе

> О подмосковном Переделкине, Магнитке, Калуге, Оптиной пустыни, Москве и о тех, кто был оклеветан

Продолжение. Начало в № 55, 58, 61, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 89, 92, 96, 99, 104, 108, 113, 117, 125, 134, 137

«Подвиг любви»

Сергея Питиримова

Теперь, когда приходится оборонять от Ткаченки Калугу, судьба которой до невероятности тяжело поддается осознанию, как судьба России, возвращаясь мыслью к историко-литературной книге Сергея Питиримова «Подвиг любви», понимаешь, что он шел к ее осознанию через осознание человеческих вершин: Илья Муромец и Соловей-разбойник, протопоп Аввакум, Денис Давыдов и фельдмаршал Кутузов; реви́зор, министр юстиции, поэт Гаврила Державин; семья Гончаровых и Пушкин; Василий Жуковский, Светлана: А. А. Протасова, похититель Светланы, поэт, издатель Александр Воейков; А. О. Россет-Смирнова, Гоголь, С. Т. Аксаков; декабрист Г. Батенков и А. П. Елагина, мать славянофилов Киреевских. Чиновник судебной палаты Калужской губернии Иван Аксаков, народ, славянофильство, Петр Киреевский, собиратель народной мудрости; Унковские, морские офицеры, исследователи, просветители; великан человечества Петр Алексеевич Кропоткин; Алексей Апухтин, Оптинский монастырь, композиторы Чайковский, Рахманинов, Гречанинов, Кюи, Аренский; А. М. Жемчужников и Козьма Прутков; Максим Горький – отец знаменитого писателя Леонида Леонова; Иван Соколов-Микитов – механик первого русского бомбардировщика «Илья Муромец» № 5, исследователь Арктики, мореплавателя, природный прозаик школы Тургенева, Бунина, Пришвина, новомирец времен Александра Невского и его друг; Александр Андреевич Лесин (Лисин), героический поэт, автор фронтовых дневников «Была война», освободитель Зайцевой горы; истинно русский поэт, медынец Сергей Поделков – меридиан, соединяющий сердца: поэта Владимира Смирнова (Мурманов) и писателя Сергея Питиримова (Калуга)...

Пахарю моря Владимиру Смирнову было отроду прочесть землепроходцу Сергею Питиримову свои стихи:

Две недели гошу я у старого друга.
Пью сухое вино холоднее росы.
Две недели меня привлекает Калуга –
Древний град, что немного моложе Руси.
Возле парка чугунные крылья ограды
Полуджье моста над рекою Окой.
Узорчатые арки Гостиного ряда,
Где не молкнет по праздникам
гомон людской.

Красит ясное небо церквей позолота.
Рядом встали громады – стекло и бетон.
А калугами звали когда-то болота –
Под зеленою ряскою ржавую топь.
Над Окою плывут облака к Перемышлю,
Где татарской орды пресекались пути...
Я на древность пытаюсь настраивать мысли,
Да никак от сегодняшних дней не уйти.

Над обрывом ракета вьется в воздух,
На века он встала, пряма и легка.
Это здесь человек начал думать о звездах,
Прямо в космос отсюда дорога легла.
А на сквере цветы распускаются ало,
Бьет фонтан, каждой струйкою чистой звеня.
И спокоен, и мудр, с высоты пьедестала
Константин Циолковский глядит на меня.

Скользкий след улитки

Моя попытка запечатлеть названиями очерки, статьи, эссе книги Сергея Питиримова «Подвиг любви» застолбила наиболее важные фигуры, события, свойства жизни Калужского края, но целиком отнюдь не охватила... И при этом, однако, видно, сколь значителен, чудесен и богат многообразием наш край, богат на удивление, то есть иные края почти все вне сопоставления с ним. К примеру, я не упомянул А. Л. Чижевского, а ведь он один способен составлять вековечно гордость, славу и сущность нашего края. На том фоне, который прорисован мной, лишь через одну только книгу С. Питиримова «Подвиг любви», все то, что написал в брошюре «Переделкинские прогулки» Анатолий Ткаченко отдает убожеством,



Александра Чижевского иногда называли Леонардо да Винчи XX века

завистью, адской злобой. В тени тех писателей, ученых, природознателей и человеколюбцев, кто упомянут мною, сей беллетрист – так называл беллетристов изумительный прозаик и сценарист Павел Нилин, – он производит впечатление некой мельтешливой массы, сцепившейся в лютости, как дерущиеся черные и рыжие муравьи.

Нет-нет – изобличение продолжится. Оно неизбежно, потому что тянется, как скользкий след улитки, издавека. Прочитавши А. М. Жемчужникова, он же, по большей части, – Козьма Прутков:

Эпохи знамение в том,
Что ложь бесстыжая востала,
И в бой наш лезет напролом,
Наглей и явней, чем бывало...
1870 г.

«Переделкинские прогулки» никогда бы Ткаченко не решился писать, не возникни в России канализационный период смрадно-гнойной кривды. До наступления этого гнусного периода он творил, прижамши от страха уши. А сейчас он бесстыдно выдает ложь на лжи и ложью погоняет: уверен – не призвуют к ответу. Те писатели, действительно классики советской литературы и наследники русской и мировой классики, кого он сбрасывает в сточные воды низменной литературы, не могут заступиться за себя, не подадут в суд: почти все умерли. А их родственники отгораживают свои души от процесса ради спокойствия и привычного благополучия. Те же, кто жив, не хотят пачкаться: смердяще ведь крючкотворство снулого пачкуна. Писателям чести чудно оскорбительное молчание. Выращенный рабоче-крестьянской средой, я сложился писателем чести и остаюсь им. Ткаченко пишет, что мне, руководителю калужской писательской организации, он был нужен именем. В действительности имени-то у него не было, что в своей брошюре он трижды опровергает: то он заходит до недостижимого самовозвеличивания, то сталкивает сам себя в ничтожность. Прозу Владимира Лидина он не относит ни к мужской прозе, ни к женской: к среднему роду. Удивляюсь, как он воздержался, при склонности к унижениям, от термина гермафродитской прозы.

Заветная думка о маме

Как-то Ткаченко спросил, пишут ли мне читатели письма. Пишут, только успевай отвечать. А он сказал, – и такие завзятые завистники минутами не лишены искренности, – что ему вовсе не пишут. «Безразличие порождает безразличие», – подумал

я, но не стал огорчать его. Моментами отдельные места в его рассказах и повестях обнаруживали теплоту. В стилистике умеет скрывать в себе холод обманчивости. Такой была ткаченкина стилистика, смею думать, улучшаемая редакторским письмом его жены Лилии Владимировны. Чувство, мысли, наблюдения свои он мешал Лиле вносить в рассказы и повести, а вот ее изобразительную ювелирность принимал, разумеется, умалчивая о ней. Но мы-то, кто встречался с Ткаченками, не про сто догадывались, – знали об этом.

После выхода в свет «Юности в Железнодорожске» я поехал навестить маму. Была заветная дума: вывезти ее из Магнитогорска в Калугу хотя бы месяца на три. Мама прибалывала: сердце. Жила мама по-прежнему одна и, конечно же, не засиживалась бы на Магнитке, если бы за ней не ухаживали мои и Татьяна Петровна родственники и, в не меньшей мере, мои всамделишные друзья и их дети: художник, многодумный Николай Рябов со своей детолюбивой Валентиной – работала в яслях; отдельно забегал их сын Борис со школьными байками, заносил гостинцы, веселил ее анекдотами, перекидывался в картишки; Разины, он – Федор – городская острота, которая ему самому нравилась: «Разин, да не Степан, Федор, да не Шаляпин», – тоже художник, подобно Рябову, его жена Нина, изумительная женщина и библиотечкарь, их дочка Тамара, и они являлись с битком набитыми авоськами и обихаживали квартиру; писательница Анна Турусова бывала одна: сын Антон болен, муж – заместитель директора металлургического комбината, перегружен делами, стирку устраивала, а потом, худенькая, дробненькая, мыла маму, зачастую лежачую: взвалит ее, грузную, на спину, и – в ванную комнату, оттуда, чистенькую, – в кухню, и салатом рыбным накормит, и пельменями, и сдобнушками к чаю, принесенными из дому. А еще навещала Марию Ивановну столь же восхищенно чтимая ею, как Турусова Анна Александровна, преподавательница западной литературы в местном пединституте Татьяна Леонидовна Занадворова, братья которой, писатели, погибли во время Великой Отечественной войны: Владислав, житель Среднего Урала, геолог, начал печататься задолго до войны. Его поэтический талант высоко ценил Константин Симонов.

Перед войной Владислав проявил себя и в прозе: повестью «Хозяйка Медной горы» зачитывались. Стихи писал в окопах, на прикладе

автомата, посылал их чаще всего в Молотов, так тогда называлась Пермь, Савватию Гинцу, и тот неуклонно содействовал публикациям этих произведений, вошедших в золотой фонд русской батальной поэзии. Его старший брат Герман занимался журналистикой в Челябинске. Тут же у Германа возникла тяга к исторической прозе. Создал главы романа о Черепановых, построивших первый в мире паровоз. По нездоровью переехал в Киев. Расстрелян националистами весной 1944 года вместе с женой Марией Яремчук около деревни Вильховая, накануне освобождения от немецко-фашистской оккупации.

Тоска по знаниям

Писателям редкого дарования дано провидеть свой уход. Сохранилось его стихотворение «Марише»:

Он жил на Урале, она – в Вильховой
В украинском тихом краю.
Венчали их стужа и голод, и зной,
Любовь оброчала в бою.
Он жил, чтобы видеть и рассказать
О самой великой войне.
Она прожила, чтоб его сберечь,
Певца сохраняла стране.
Он смерти в глаза, не колеблясь, глядел.
И Родине так же верна, –
Если б его повели на расстрел, –
С ним рядом пошла бы она.
Когда их не будет, окончится бой,
Песню о них пропуют.
Он жил на Урале, она – в Вильховой,
В украинском тихом краю.

Татьяна Леонидовна приносила моей маме коньяк, сухой торт, коробку конфет. Все это подходило к ее кукольности, изяществу поступи, горловой до воркования речи. Но как-то не верилось, что она, девчонистая, с косичками вперекрест, женщина, еще недавно неунывно тащила семейный воз: мать, Екатерину Павловну, присогнутую, слабенькую, однако невероятной воли, дабы управляться с бытовыми заботами; мужа – Самуила Хацкеля, астматика, мотавшегося по стране в поисках условий, спасительного климата (магнитогорский воздух он выдерживал

лишь месяц-другой), где пытался учить школьников физике и математике, а больше являлся их посмешищем, где отыскивал среди учительниц непритязательных одиночек и куда Татьяна Леонидовна посылала ему денежные переводы.

Благородную христианскую терпимость Екатерины Павловны восприняла от отца, православного священника, привычного к бедности, точно малоземельный крестьянин. Замуж вышла за инженера-мостовика; некоторое время при штабе Колчака он занимался строительными и восстановительными работами. Господствующего в семье нахребетника Хацкеля, когда он возвращался из путешествий, она переносила монашески покорно, приучая к смирению внучку и внуков, которым он был до презрения неприятен. При ее немощи спасение заключалось в неунынности дочери. Мою маму, тоже неунынную, к Татьяне Леонидовне располагало ее достоинство образованной русской женщины и верность мужу-хлыщу. Едва кто-то принимался осуждать Татьяну Леонидовну, она, сдержанная, возносила гневный голос на ее защиту: сама выбрала. Какой есть – предана, да при трех-то потомках, очень моральных, лъзя ли иначе?

Маму, она окончила всего три класса станицы Ключевской, томилась тоска по знаниям. В другой станице, Кизильской, выдворенная из детского сада правлением колхоза за жалость к так называемым отпрыскам подкулачников, – в правлении мой батя был председателем, – она до бегства на Магнитку прочитала роман Стендаля «Красное и черное», а после, в тюрьме, всласть слушала, как воровка Лана по просьбе сокамерниц рассказывала романы Бальзака, вот и понуждала Татьяну Леонидовну приобщать себя к французским произведениям. Мои вещи разных жанров мама называла произведениями, чего я стеснялась и запрещал бы ей так говорить, кабы это не было простонародно смешновато до развлекательности.

Продолжение следует

> Мало иметь хороший ум, главное – хорошо его применять. Рене ДЕКАРТ